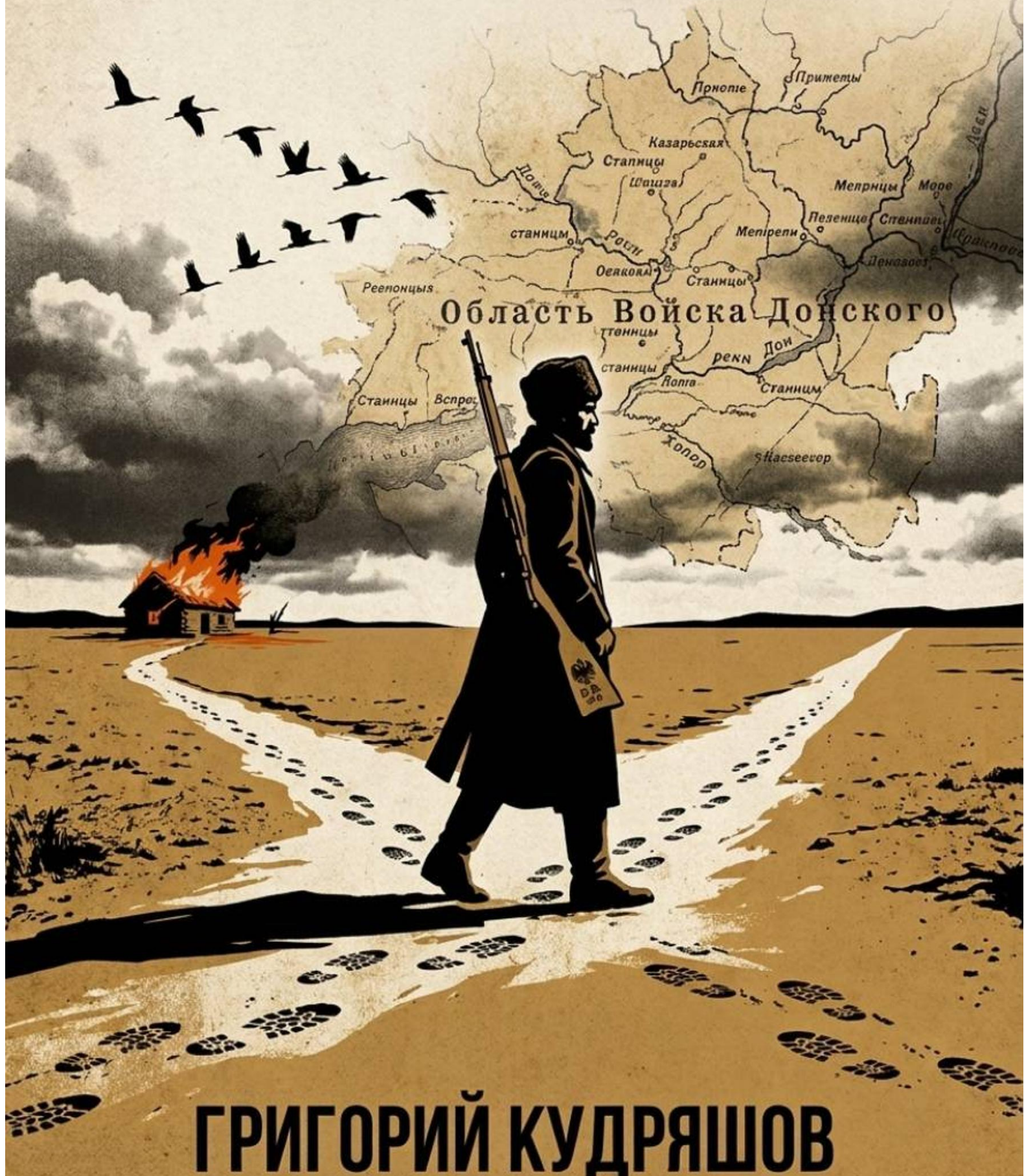


ПУЛЯ ДЛЯ СВОИХ



Григорий Кудряшов

Пуля для Своих

«Автор»

2026

Кудряшов Г. Д.

Пуля для Своих / Г. Д. Кудряшов — «Автор», 2026

Иван Чертков возвращается с войны и вместо родного дома находит пепелище. Мать убита, брат в бегах, станица сожжена. Гражданская война только начинается. Он вступает в армию атамана Краснова, затем переходит к Деникину — но везде видит одно и то же: предательство, ложь и своих же, расстрелянных за то, что они казаки. Он ищет правду у белых, у красных, у атаманов — но каждый раз оказывается, что правды нет ни у кого. Когда брат погибает от рук своих же, а друзей расстреливают, Иван остаётся один на чужом берегу. Ему предстоит понять: может, война не даёт ответов — она лишь забирает всё, что было дорого. И найти в себе силы жить с этим, когда вокруг рухнул весь мир.

© Кудряшов Г. Д., 2026

© Автор, 2026

Григорий Кудряшов

Пуля для Своих

Пуля для своих

«В сознании честных русских людей счастье Родины не может быть приобретено путём её расчленения». — Антон Иванович Деникин

Часть I. «За Дон!»

Глава 1. Пепел

Иван Чертков возвращался домой в мае, когда степь уже отходила от весеннего буйства и начинала тихо выгорать под солнцем. Он шел пешком от станции, где поезд простоял шесть часов, пропуская составы с каким-то военным грузом, а потом и вовсе встал — сказали, путь разобран. До станицы оставалось верст пятнадцать, и он пошел напрямик, через балки, мимо знакомых с детства курганов.

За плечами у него был пустой вещевой мешок и австрийский штык в ножнах — единственное, что удалось сохранить из оружия. На гимнастерке, выцветшей до белесой серости, темнела полоска от споротых погон. Унтер-офицерские лычки он срезал сам, еще в эшелоне, когда понял, что никакой армии больше нет, а есть только толпы вооруженных людей, которые пробираются кто куда. Георгиевский крест он не снял — серебро, потемневшее от пота и времени, висело на засаленной ленте. Это была единственная вещь, которая связывала его с прошлой жизнью, с тем Иваном Чертковым, что уходил на германскую три года назад под гармонь и бабьи слезы.

Он не был в станице с самого начала войны. Письма приходили редко, а последние полгода не приходили вовсе. Он знал только, что отец болел, а брат Григорий, комиссованный по ранению еще в шестнадцатом, хозяйствовал на земле. В последнем письме, полученном в окопах под Ковелем, мать писала: «Гриша пришел худой, рука плохо гнется, но работает. Отец все кашляет. Ждем тебя, Ваня, скорее бы эта война кончилась».

Война кончилась. Он возвращался.

Солнце уже садилось, когда он поднялся на последний холм перед станицей. Отсюда, с высоты, всегда открывался вид на крыши, на белую колокольню Покровской церкви, на извилистую ленту Дона вдалеке. Иван остановился, чтобы перевести дух, поднял глаза — и замер.

Колокольня стояла на месте, но крест на ней покосился, сбитый чем-то — не то пулей, не то ударом приклада. А вокруг нее, насколько хватало глаз, лежала разграбленная станица.

Это было хуже, чем пепелище. Дома стояли — но стояли, как покойники в гробах: с выбитыми окнами, с распахнутыми настежь дверями, с сорванными крышами. Улицы были завалены домашним скарбом, который мародеры вышвырнули из хат и бросили, не считая достойным добычи. Перины, распоротые и выпустившие пух, горшки с геранью, иконы без окладов, прялки, сундуки с вывороченными замками — все это валялось в пыли, уже присыпанное майской пылью и равнодушное ко всему. Ни души. Только ветер гонял по кривой улице обрывки тряпья и сухие листья.

Иван пошел вниз, уже не чувствуя усталости. Он шел по родной станице и не узнавал ее. Вот двор кузнеца Еремеева — настежь, кузня разорена, меха порваны. Вот лавка жестянщика — дверь сорвана с петель, внутри темнота и пустота. Вот правление — окна высажены, бумаги разлетелись по всей площади, и ветер трепал их, как белых птиц со сломанными крыльями.

У околицы его встретил запах — сладковатый, тяжелый, с примесью мокрой золы и чего-то еще, о чем Иван не хотел думать. Тишина стояла такая, что слышно было, как где-то хлопает незатворенная ставня. Ни собак, ни петухов, ни детских голосов. Только ветер.

Он дошел до своего куреня.

Дом сгорел.

Это был единственный сгоревший дом на всю улицу. Соседние хаты стояли целые — разграбленные, искалеченные, но целые. А дом Чертковых выгорел дотла. То ли сами подожгли, уходя, то ли красные запалили с каким-то особым умыслом — теперь уже не узнать.

От куреня осталась печь — большая, русская, которую отец клал своими руками еще в молодости. Она возвышалась над грудой обугленных балок, над обломками глиняной посуды, над искореженным самоваром, как памятник всей прежней жизни. Крыша провалилась внутрь. Плетень, отделявший двор от улицы, был повален и втоптан в грязь. В палисаднике, где мать растила георгины и подсолнухи, торчали только обгорелые палки.

Иван остановился. Снял вещмешок. Положил на землю. Постоял минуту, другую. Потом медленно, как во сне, вошел во двор.

В нос ударил запах, от которого перехватило дыхание: горелое дерево, сажа, перемешанная с мокрой золой, и сладковатый, тошнотворный дух горелого сала. Где-то под обломками тлело что-то живое — может, остатки припасов, а может, иное. Иван задержал дыхание, шагнул вперед, и под ногами хрустнули обугленные доски — так, что крошево сажки взметнулось в воздух и осело на губах, горькое, едкое, как сама эта война.

Сарай уцелел — только дверь сорвана. На глиняной стене виднелись вмятины от прикладов. Рядом, на утоптанной земле, темнело пятно — не хотел думать, что это. Домашний скarb, уцелевший от огня, валялся тут же, выброшенный мародерами наспех: материн платок, отцовская трубка, страница из Псалтири, которую бабка читала по вечерам. Все это лежало в грязи, под открытым небом, как мусор.

Он присел на корточки и долго смотрел на печь. В горле вдруг запершило — он ощутил запах, которого здесь не могло быть. Запах свежего хлеба, того самого, что мать пекла по субботам, когда на всю хату стоял дух кислого теста и жареного лука. Она ставила каравай на деревянную лопату, крестила его, и пламя в печи золотило её лицо, делая похожей на икону. Теперь от той печи осталась только сажа и пустота. Иван помотал головой, отгоняя видение. Внутри еще сохранился слой золы — последний огонь, который горел в этом доме, был мирным, кухонным. Может быть, мать пекла хлеб. Может быть, грела воду. А потом пришли они — и зажгли другой огонь.

Сзади слышались шаги. Тяжелые, неторопливые.

Иван не обернулся. Он узнал эти шаги — так мог ходить только старый Харламий Дронов, сосед, который жил через два двора и у которого левая нога была чуть короче правой после сабельного удара в японскую.

— Живой, значит, — произнес за спиной хриплый голос. — А я гадаю: Чертков или не Чертков? По фигуре вроде он, а походка другая. Раньше ходил — земля гудела, а теперь крадешься, как кот.

Иван поднялся. Повернулся.

Харламий Дронов почти не изменился за эти три года. Та же сбитая, коренастая фигура, те же прокуренные до желтизны усы, тот же прищур. На левом глазу белело бельмо — след давней сабельной отметины. Одет он был в старую казачью черкеску с выцветшими газырями, подпоясанную простым ремнем. На боку — шашка в потертых ножнах. За плечом — винтовка.

Иван кивнул на пепелище:

— Где мои?

Харламий помолчал, кашлянул в кулак. Потом достал кисет, неторопливо скрутил сигарку, чиркнул кресалом. Затянулся. И только потом ответил:

— Отец твой помер еще в феврале. Грудь у него слабая была, а тут морозы, бескормица... Не дожил до красных.

Он выпустил дым, глядя куда-то в сторону.

— А мать с Григорием?

— Ушли, — Харламий сплюнул под ноги. — Красные в марте нагрянули. Сначала реквизировали хлеб, потом объявили мобилизацию — всех молодых казаков в Красную армию, под пулеметы. Григорий отказался. Его объявили врагом народа. Пришли с обыском. Мать твоя заступилась... — Он замолчал, потер переносицу. — Короче, Ваня, нету твоей матери. А Григорий ушел в отряд. Какой — не знаю, не сказывал. Сказал только: «Передай Ивану, если вернется — я за Дон, до конца». И ушел.

Иван стоял молча. Слушал. Впитывал каждое слово, как сухая земля впитывает воду. А внутри росло, набухало то, чему он пока не мог дать имени.

— Кто именно приходил? — спросил он глухо. — Из местных? Из пришлых?

— Пришлые, — Харламий докурил, бросил окуроч, растер сапогом. — Из иногородних, что на казачью землю зубы точили. А с ними — матросы. Эти самые лютые. У них наган — закон, а остальное — так, суета.

Он помолчал, потом добавил тише:

— Ты, Ваня, не спеши с ответом. Горе оно сначала немое, потом говорит. А когда заговорит — ты его слушай. Только не дай ему тебя сломать.

Иван снова посмотрел на печь. Потом перевел взгляд на свои руки. Руки дрожали — мелко, почти незаметно. Он сжал их в кулаки.

— Где сейчас отряд? — спросил он.

Харламий хмыкнул:

— Какой? Их тут много. Есть наши, донские, под атаманом Красновым. Есть красные, под Троцким. Есть еще черт знает кто — анархисты, самостийники, просто бандиты. Но если ты про тех, кто за Дон, — они в округе стоят. Атаман собирает Круг, хочет войско крепить. Говорят, немцы помогают.

— Немцы? — переспросил Иван.

— Ну да. Те самые, с которыми ты три года воевал. — Харламий усмехнулся в усы. — Жизнь, Ваня, такая штука: сегодня враг, завтра друг. Особенно когда у тебя патронов нет, а у врага твоего — пулеметы. Так что не суди строго. Немец — он не брат, но и не сатана. Сатана — он внутри нас сидит.

Он повернулся, собираясь уходить, но задержался:

— Пойдем ко мне, Иван. Переночуешь, поешь. У меня Матрена щи варит — правда, пустые, крупы нет, но хоть горячее. Утро вечера мудренее.

Иван не ответил. Он стоял и смотрел на закат. Солнце садилось за Дон, окрашивая небо в густой багровый цвет. Казалось, сама земля истекает кровью.

— Я догоню, — сказал он наконец. — Иди, дядька Харламий. Я тут еще... побуду.

Харламий кивнул, постоял еще минуту и зашагал прочь. Его силуэт, кособокий и крепкий, как старый дуб, растворился в сумерках.

Иван остался один.

Он опустился на колени перед порогом — тем самым, где темнело пятно. Перекрестился. Потом запустил руку в золу, еще теплую в глубине, и нащупал что-то твердое. Достал. Это была старая чернильница — отцовская, медная, с отбитым краем. Отец любил писать письма при свете керосиновой лампы, неторопливо, красивым почерком. «Любезный сын Иван Никифорович...» — так начинались все его послания.

Чернильница обожгла ладонь. Иван прижал ее к груди. Металл был ещё тёплым, словно отец держал его в руках только что. На ободке, под слоем сажи, Иван нашарил пальцами старую царапину — он сам её сделал мальчишкой, когда уронил чернильницу на каменный пол. Тогда

отец рассердился, но быстро остыл и сказал: «Ничего, Ваня, вещи — они для того и живут, чтобы отметины носить. Как люди — шрамы». Иван провёл пальцем по царапине, и в горле стало тесно. Слез не было — только сухая, глухая боль где-то под сердцем, словно туда вогнали гвоздь.

Он просидел так до темноты. А когда взошла луна, поднялся, спрятал чернильницу в вещмешок и медленно пошел к дому Харлампия.

На востоке, за Доном, глухо погромыхивало. То ли гроза, то ли пушки.

Глава 2. Чужое оружие

Утро началось с тумана. Он напелзал с Дона, густой и белый, как молоко, скрадывая очертания уцелевших домов, размывая пепелища. В этом тумане станица казалась почти прежней — как будто война еще не добралась сюда, как будто можно выйти на крыльцо и услышать мычание скота, бабий говор у колодца, скрип телег.

Но скота не было. И баб не было. И телег.

Иван проснулся на лавке у Харлампия, под старым овчинным тулупом. Матрена, жена старого урядника, молчаливая женщина с темным, изможденным лицом, поставила перед ним миску щей — действительно пустых, но горячих, с запахом лаврового листа. Он съел их медленно, чувствуя, как тепло разливается по телу. Матрена, молчаливая женщина, поставила перед ним ещё одну миску — на этот раз с куском чёрного хлеба, присыпанного солью. Иван хотел поблагодарить, но она не дала, махнула рукой:

— Ешь, ешь. Война накормит — не успеешь и вздохнуть. А мы пока горячим балуем.

Харлампий, не поднимая головы от винтовки, хмыкнул:

— Балует она тебя, Ваня. Раньше, помню, щи так варила, что ложка стояла. А теперь — одна вода и лавровый лист. Спасибо, хоть не с пустыми руками встречаем.

— Цыц, старый, — беззлобно огрызнулась Матрена. — Человек с фронта, ему не твои придирки нужны.

Иван улыбнулся уголками губ — впервые за долгие месяцы. В этом нехитром перебранке слышалась жизнь, та самая, мирная, которую он уже почти забыл. Три дня в эшелоне на сухарях и воде — горячая еда казалась почти неприличной роскошью.

Харлампий сидел напротив, чистил винтовку. Руки его двигались привычно, сноровисто, а глаза — здоровый и белесый — смотрели на Ивана изучающе.

— Ну что, оклемался? — спросил он, не поднимая головы.

— Оклемался.

— Тогда слушай. Атаман Краснов собирает войско. Вчера прискакал вестовой — через три дня большой сбор в Новочеркасске. Круг будет решать, как дальше жить. А пока Круг решает, нам, казакам, надо Дон держать. Потому что красные не дремлют. У них уже Царицын под боком, и Тула за ними, и Москва. А мы тут как кость в горле — ни проглотить, ни выплюнуть.

Он отложил ветошь, поднял глаза:

— Ты, Иван, унтер. В германскую воевал справно — я твоего отца встречал, он письма твои читал, гордился. Стало быть, и здесь пригодишься. Но прежде чем в строй вставать, ответь себе на один вопрос: за что воевать будешь?

Иван молчал.

— За Дон, — сказал он наконец.

— За Дон — это как? — Харлампий прищурился. — За землю? За курень? За казачью волю? Или за атамана Краснова? Это, брат, разные вещи. Земля она и без атамана проживет, а атаман без земли — никуда. Ты пойми, за что кровь проливать станешь. Не то потом душу изгрызешь.

— Я за своих, — сказал Иван глухо. — За мать. За отца. За Григория, где бы он ни был. За то, чтобы больше ни один дом не сгорел.

Харлампий кивнул медленно:

— Это дело.

Он поднялся, прошел в угол избы, где стоял старый кованый сундук. Откинул крышку, порылся, достал что-то завернутое в промасленную тряпицу. Развернул. Протянул Ивану.

Это была шашка — не новая, с потертой рукоятью, но добротная, с тусклым золотым травлением на клинке. «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай» — гласила старая казачья надпись.

— Отцовская? — спросил Иван.

— Нет. Твоего отца шашку красные забрали. Это моя, запасная. Я с ней в Японскую ходил. Теперь тебе.

Иван взял оружие. Шашка легла в ладонь тяжело, основательно. Он вытянул клинок на треть — сталь была чистая, без единого пятнышка ржавчины.

— Спасибо, дядька Харлампий.

— Не благодари. Может, еще проклянешь меня за этот подарок. — Урядник вернулся к своей винтовке. — А теперь ступай. В правлении бывшей станичной управы записывают добровольцев. Там тебе и винтовку дадут.

— Какую?

— А вот это, Ваня, интересный вопрос, — Харлампий усмехнулся в усы. — Пойди да посмотри.

В станичной управе, чудом уцелевшей среди разора, былолюдно и душно. Пахло табаком, кислым потом и кожей амуниции. У стола, за которым сидел писарь с воспаленными от недосыпа глазами, толпились казаки — пожилые бородачи, молодые парни, только-только достигшие призывного возраста, и фронтовики вроде Ивана, с выцветшими нашивками за ранения, с медалями, полученными еще при царе, и с пустыми рукавами.

Ивана записали быстро. Унтер-офицер, год рождения — тысяча восемьсот девяносто пятый, холост, вероисповедания православного. Назначили во 2-ю сотню сводного казачьего полка.

Винтовки выдавали во дворе управы, под навесом. Там стояли ящики — немецкие, с черными орлами на крышках. Рядом с ними прохаживался офицер в форме Донского войска и какой-то штатский в пенсне, с блокнотом в руках. А чуть поодаль, опершись на трость, стоял немец.

Иван замер.

Он видел немцев на фронте. Видел в бинокль, через проволочные заграждения — серые каски, острые пики пикельхаубе. Стрелял в них из пулемета. Ходил в штыковую. И вот теперь немец стоял здесь, в самом сердце Дона, и смотрел на казаков с выражением холодного, вежливого любопытства. Офицер. Высокий, подтянутый, с моноклем в левом глазу и безупречными светлыми усиками. На груди — Железный крест.

— Следующий! — крикнул казачий офицер.

Иван подошел. Ему протянули винтовку. Он взял ее — и сразу понял, что оружие не новое. Приклад был потерт, на цевье виднелись царапины. Винтовка Мосина, русская, образца девяносто первого года — он такие на фронте перевидал сотнями. Но когда перевернул ее прикладом вверх, увидел то, от чего внутри все похолодело.

На дереве был выжжен орел. Германский имперский — с одной головой, распростертыми крыльями и короной над ними. На груди орла — щиток с прусским гербом. Такими клеймами немцы метили трофейное оружие на своих складах, прежде чем отправить его обратно на фронт — уже против бывших владельцев.

— Трофейная, — пояснил офицер, заметив его взгляд. — С Восточного фронта. Вполне исправная, проверена. Патронов получите пять обойм.

Иван держал винтовку и чувствовал, как к горлу подступает горечь. Это оружие отняли у русского солдата — может быть, у такого же, как он сам. У убитого, у пленного. Кто знает, где оно побывало, сколько рук через него прошло. А теперь оно возвращается обратно, на русскую землю, чтобы снова стрелять в русских же.

Немец тем временем подошел ближе. Он смотрел на Ивана с тем же выражением вежливого интереса, с каким рассматривают музейный экспонат.

— Sie sind Kosak? — спросил он. — Ein echter Kosak vom Don? [Вы казак? Настоящий донской казак?]

Иван не ответил. Он смотрел на орла.

Офицер, видимо, принял его молчание за непонимание немецкого и перешел на ломаный русский:

— Вы есть кавалерист? Я слышать, донские казаки — лучшие кавалеристы в мире. Мы вас уважать.

Он сделал шаг ближе и вдруг взялся за винтовку. Повернул ее прикладом к Ивану, ткнул пальцем в выжженного орла:

— Ви? Это есть знак качества. Немецкий Ordnung. Порядок. Этот винтовка не подведет. — Он улыбнулся, блеснув стальными коронками. — Стреляй метко.

Иван поднял глаза. Встретился с немцем взглядом. И произнес ровным, спокойным голосом:

— Я в вашего брата три года стрелял. Теперь, выходит, из вашего же оружия в красных стрелять буду.

Немец перестал улыбаться. Снял монокль, протер платком, снова вставил в глаз.

— Война кончилась, казак, — сказал он уже без всякого акцента, почти чисто. — Теперь у нас общий враг. Привыкай.

Он повернулся и пошел прочь, постукивая тростью по утоптанной земле.

Иван остался стоять с винтовкой в руках. Орел смотрел на него с приклада. Казалось, он живой — вот-вот расправит крылья и вонзит когти в ладонь.

— Не гляди ты так, — сказал кто-то сзади. — Оружие оно и есть оружие. Не виноватое, что из германских рук пришло.

Иван обернулся. Перед ним стоял молодой казак, почти мальчишка, лет семнадцати на вид. Белобрысый, конопатый, с оттопыренными ушами и веселыми, еще не пуганными глазами. Гимнастерка сидела на нем мешком, пояс болтался, а на боку висела шашка, явно с чужого плеча.

— Меня Егором кличут, — сказал он, протягивая руку. — Егор Зубов. Из Задонья я. У меня тоже немецкая. — Он потряхнул своей винтовкой. — Мне дед говорил: не важно, чья винтовка, важно, в чьих руках. А у тебя, дядька, руки правильные. Сразу видать — фронтовик.

Иван невольно усмехнулся. Парень смотрел на него с щенячьим восторгом.

— Фронтовик, — подтвердил он. — Только ты мне в дядьки не набивайся. Я тебе в отцы гожусь.

— Ну так и хорошо! — Егор засмеялся. — Отца у меня красные убили, теперь ты за него будешь.

Иван хотел ответить что-то резкое, но осекся. Вспомнил Григория. Вспомнил мать. Ничего не сказал.

— Ладно, — произнес он наконец. — Держись рядом. Может, чему и научу.

И они пошли со двора — двое казаков с немецкими винтовками, помеченными орлами. А навстречу им, с юга, уже поднималось горячее майское солнце, и где-то вдали, за холмами, глухо ухала артиллерия.

Война начиналась.

Глава 3. Поход

Через два дня полк выступил.

Шли на восток, к Царицыну. Краснов бросил на город несколько дивизий — донских, сводных, с приданными пластунскими батальонами. Говорили, что Царицын — ключ ко всему. Возьмешь Царицын — перережешь Волгу, отрежешь красных от бакинской нефти, от хлеба, от пополнений. А там, глядишь, и Москва дрогнет.

Иван шагал в строю, чувствуя, как плечо привыкает к тяжести винтовки. Рядом пылил Егор, то и дело поправлявший сползавшую папаху. Чуть впереди, мерно постукивая посохом, шел Харлампий. Старый урядник отказался от коня — сказал, что пешим сподручнее думать.

Дорога была пустой. Деревни, через которые проходил полк, стояли молчаливые и насто-роженные. Мужики прятались по дворам, бабы смотрели из-за заборов, дети жались к мате-рям. Никто не выходил с хлебом-солью, никто не кричал здравия. Только пыль, зной и далекий ропот орудий — где-то там, впереди, уже дрались передовые отряды.

На втором переходе к Ивану подошел сотник — молодой, но с жестким, обветренным лицом. Оглядел с ног до головы, задержался взглядом на георгиевском кресте.

— Чертков?

— Так точно, ваше благородие.

— Слыхал про тебя. Под Ковелем унтера держал, пока пулеметчики не подоспели.

— Было дело.

— Ну, здесь такое же пекло будет, — сотник усмехнулся невесело. — Только там герма-нец, а тут свой брат. Ты это... учти.

Иван промолчал. Сотник кивнул и ушел вдоль колонны, а Егор дернул Ивана за рукав:

— Дядька Иван, а ты правда германца штыком колот?

— Правда.

— А страшно?

Иван помедлил.

— Страшно, Егор, не это. Страшно потом, когда вспоминаешь.

Больше парень вопросов не задавал.

Вечером третьего дня встали лагерем у какой-то безымянной балки. Разожгли костры. В котлах булькала похлебка — все та же, пустая, но теперь с запахом конины. Лошадей жалели, но одну пришлось пристрелить — захромала, не могла идти дальше.

Харлампий сидел у костра, скручивал сигарку.

Он появился неожиданно — нагнал полк на втором переходе, верхом на низкорослом донском коньке, с неизменной шашкой на боку и старым посохом, притороченным к седлу. Оказалось, что старый урядник получил назначение в соседнюю сотню — не то по своей воле, не то по чьему-то приказу, он не распространялся. Сказал только: «Скучно в станице без дела. А тут хоть кости разомну перед смертью». Иван подозревал, что дело не в скуке — просто старик не мог отпустить его одного. Но вслух ничего не сказал.

Иван подсел рядом. Долго молчали, глядя в огонь.

— О чем думаешь? — спросил наконец старый урядник.

— О брате.

— Это хорошо. О брате думать надо.

— Не знаю, где он. Не знаю, живой ли.

— Узнаешь, — Харлампий затянулся. — Война — она как решето. Всех перемелет, всех перетрясет. Кому суждено — встретятся. Только готовься, Ваня: встречи на гражданской войне — они не как в мирное время. Тут брат на брата с топором идет. Ты к этому готовь душу.

Иван поднял глаза:

— А ты сам, дядька Харлампий, за что воюешь?

Старый урядник долго молчал, глядя на угли.

— Я за Дон воюю, — сказал он наконец. — За то, чтобы казак сам решал, как ему жить. Чтобы не лезли к нам ни москаль, ни немцы, ни коммунисты. Чтобы землю нашу не делили, веру не рушили. Я на трех войнах был — и везде казак чужую волю исполнял. В Японскую — за царя. В Германскую — за отечество. А теперь хоть за себя постоим.

— А если не выстоим?

— Тогда ляжем, — просто ответил Харлампий. — Кто на Дон с мечом — от Дона и погибнет. Так деды говорили. И я так говорю.

Он поднялся, бросил окурок в огонь:

— Спать, Иван. Завтра Царицын.

Царицын встретил их железом.

Город лежал в излучине Волги, ошетилившись окопами, пулеметными гнездами, колючей проволокой. Красные, которыми командовал Сталин и Ворошилов, успели подготовить оборону основательно. Позиции были укреплены, подступы пристреляны, мосты взорваны.

Первая атака захлебнулась в первые же часы.

Иван лежал в цепи, вжимаясь в горячую землю. Пули свистели над головой — надсадный, противный звук, от которого сводило внутренности. Свист пуль был разным: одни пели тонко, как комары, другие ухали глухо, сбивая с ног ещё до того, как ты слышал выстрел. А где-то между ними, в паузах, слышно было, как хрустит под сапогами спекшаяся земля и как тяжело дышит Егор — прерывисто, со всхлипом. Рядом, уткнувшись лицом в траву, всхлипывал Егор. Винтовка его валялась рядом, и мальчишка не делал ни малейшей попытки ее поднять.

— Егор! — рявкнул Иван. — Винтовку возьми!

Парень не двигался. Иван перекатился к нему, схватил за шиворот, встряхнул:

— Смотри на меня! Смотри!

В глазах у Егора стояли слезы — не от боли, от ужаса.

— Я не могу, дядька... Я не могу...

— Можешь, — Иван говорил спокойно, хотя сам чувствовал, как внутри все дрожит. — Страх — он как вода в Дону: накатывает и отходит. Ты его пережди. А винтовку держи. Без винтовки ты не казак, а мишень. Понял?

Егор кивнул неуверенно. Поднял винтовку. Руки у него тряслись, но он хотя бы перестал всхлипывать.

— Сейчас поднимемся и побежим вперед, — продолжал Иван. — Ровно до той воронки. Дальше заляжем. И будем стрелять. Целиться в тех, кто бежит навстречу. Они такие же люди, как мы. У них тоже страх. Но если мы их не остановим — они нас положат. Все просто.

— Все просто... — повторил Егор как заклинание.

Где-то справа взвилась ракета. Иван поднялся первым и побежал, не оглядываясь, зная, что Егор бежит следом.

Бой длился до вечера, то затихая, то вспыхивая с новой силой. Казаки дважды поднимались в атаку и дважды откатывались назад, оставляя на поле убитых и раненых. Орудийный гул стоял такой, что закладывало уши. Дым застилал небо, и солнце висело в нем мутным багровым пятном.

В третью атаку Иван повел свое отделение сам — прежнего командира убило шрапнелью еще в полдень. Он поднял людей без команды, просто встал и пошел, и они пошли за ним — потому что видели: этот знает, что делает.

Они дошли до самых окопов. На бруствере Иван столкнулся лицом к лицу с красным — молодым парнем в расстегнутой гимнастерке, с безумными от страха глазами. Парень замахнулся штыком, но Иван опередил — ударил прикладом, коротко и страшно, как учили еще

в учебной команде. Красный упал, и Иван перепрыгнул через него, спрыгнул в окоп, и там началась рукопашная — быстрая, слепая, где не различаешь лиц, а только видишь движение и бьешь, бьешь, пока руки держат оружие.

Когда все кончилось и красные отступили, оставив окопы, Иван опустился на ящик из-под снарядов и долго не мог отдышаться. Руки мелко тряслись. В ушах стоял звон. Перед глазами все еще маячило лицо того парня — молодого, почти мальчика, с редкой рыжеватой щетиной и испуганными глазами. Иван ударил его прикладом в висок. Ударил насмерть.

— Дядька Иван, — позвал Егор откуда-то сбоку. Голос у него был глухой, как из бочки. — Ты ранен?

Иван опустил глаза. По левому рукаву текла кровь — зацепило осколком или штыком, он не помнил. Но кость была цела, и рука двигалась.

— Пустое, — сказал он. — Перевяжу.

— Я помогу, — Егор уже раскрывал санитарный пакет. Руки у него все еще дрожали, но теперь это была другая дрожь — не от страха, а от возбуждения. — Ты, дядька Иван, герой. Я видел, как ты их...

— Я не герой, — оборвал его Иван. — Я просто жить хочу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.